

Часть I

Просвещение

Здравый смысл XVIII века, схвативший очевидные факты людских страданий и очевидные требования человеческой природы, подействовал на мир как душ морального очищения.

АЛЬФРЕД УАЙТХЕД

За те несколько десятков лет, что я выступаю с лекциями о языке, сознании и человеческой природе, мне задавали самые странные вопросы. Какой язык лучше всех? Мыслят ли устрицы и другие моллюски? Когда мы сможем загружать свое сознание в интернет? Разве ожирение – не форма насилия?

Но самый поразительный вопрос был задан мне после лекции, в которой я рассказывал об общепринятом среди ученых понимании мышления как упорядоченном процессе в тканях мозга. Одна студентка в аудитории подняла руку и спросила меня:

– Зачем мне жить?

По ее простодушному тону было понятно, что она не имеет суицидальных наклонностей и не иронизирует, но искренне хочет знать, как найти смысл и цель, если современная наука опровергла традиционные религиозные представления о бессмертной душе. Я вообще не считаю, что есть такая вещь, как глупые вопросы, и, к удивлению этой студентки, остальных слушателей и своему собственному в первую очередь, мне удалось сформулировать вполне достойный ответ. По моим воспоминаниям, несомненно неточным и приукрашенным задним числом, он был примерно таким.

Задавая этот вопрос, вы ищете рациональные основания для своих убеждений, а значит, пытаетесь найти и оправдать то, что для

вам важно, следуя принципу разума. А разумных причин жить очень много!

Будучи разумным существом, вы обладаете способностью к процветанию. Вы можете развивать свое рациональное мышление, обучаясь и участвуя в спорах. Вы можете искать объяснения явлениям природы методами науки и пытаться понять человеческую природу через искусство и гуманитарное знание. Вы можете по максимуму использовать свою способность к удовлетворению и удовольствию, благодаря которой успешно размножались ваши предки и которой вы, таким образом, обязаны своим существованием. Вы можете посвятить себя постижению красоты и богатства мира природы и мира культуры. Вы – итог миллиардов лет, на протяжении которых жизнь воспроизводила саму себя, и теперь вы в свой черед можете заняться ее воспроизведением. Вы наделены способностью сопереживать: вы можете испытывать симпатию, любить, уважать, помогать, проявлять доброту – и наслаждаться взаимной благожелательностью с членами вашей семьи, друзьями и коллегами.

И поскольку разум подсказывает, что ничто из этого не свойственно исключительно вам, вы несете ответственность за то, чтобы обеспечить другим то, чего хотели бы для себя. Вы можете способствовать благополучию других разумных существ, трудясь на пользу жизни, здоровья, знаний, свободы, достатка, безопасности, красоты и мира. История показывает, что, когда мы сопереживаем другим и применяем свои способности для улучшения человеческой доли, мы видим прогресс в этом направлении, и вы можете способствовать этому прогрессу.

Рассуждения о смысле жизни не входят в типичные служебные обязанности профессора когнитивной науки, и я бы не осмелился ответить на вопрос этой студентки, если бы ответ основывался на моих узкоспециальных знаниях или на моем сомнительном жизненном опыте. Но тут я знал, что всего лишь воспроизвожу комплекс убеждений и ценностей, сформированных более чем за два века до меня и ныне актуальных как никогда, а именно идеалы Просвещения.

Принцип Просвещения, согласно которому рациональное мышление и сопереживание – это путь к процветанию человечества, может показаться очевидным, банальным и устаревшим. Я написал эту

книгу, потому что понял, что это не так. Сейчас идеалы разума, науки, гуманизма и прогресса нуждаются в решительной защите как никогда прежде. Мы принимаем дары Просвещения как должное: новорожденных, которым предстоит прожить по восемьдесят лет, рынки, изобилующие едой, чистую воду, текущую по мановению руки, и по мановению же руки исчезающие отходы, таблетки против опасных инфекций, сыновей, которых не отправляют воевать, дочерей, которые могут спокойно гулять по улицам, критиков власти, которых не сажают в тюрьму и не расстреливают, знания и культуру всего мира в кармане рубашки. Но все это – достижения человечества, а не ниспосланные нам от рождения привилегии. В личных воспоминаниях многих читателей этой книги – как и в настоящем тех, кому выпало жить в менее благополучных уголках планеты, – война, нужда, болезни, невежество и угроза смерти естественным образом сопутствуют жизни. Нам известно, что страны могут легко скатиться обратно в это первобытное состояние, и потому мы пренебрегаем достижениями Просвещения на свой страх и риск.

За годы, прошедшие с тех пор, как я ответил на вопрос той девушки, жизнь часто напоминала мне о необходимости заново сформулировать идеалы Просвещения (которые еще называют идеалами гуманизма, «открытого общества», а также космополитического или классического либерализма). И дело не только в том, что я регулярно обнаруживал в своей почте схожие вопросы («Уважаемый профессор Пинкер, что бы вы посоветовали человеку, который руководствуется в жизни идеями из ваших книг и научных статей, воспринимая себя как собрание атомов, как механизм с ограниченными способностями к познанию, порожденный эгоистичными генами и существующий в пространственно-временном континууме?»), дело еще и в том, что, если мы забудем о масштабе человеческого прогресса, это грозит нам симптомами похуже, чем экзистенциальная тоска. Это может вызвать у людей циничное недоверие к институтам, вдохновленным Просвещением и служащим залогом прогресса, например к институту либеральной демократии или к организациям международного сотрудничества, и склонить их к атактивистическим альтернативам.

Идеалы Просвещения – это продукт человеческого разума, но им всегда приходится бороться с другими компонентами человеческой

природы: с преданностью своему племени, почитанием авторитетов, магическим мышлением, склонностью винить во всех бедах злоумышленников. Во втором десятилетии XXI века набрали силу политические движения, пророчащие своим обществам кошмарное антиутопическое будущее, уготованное для нас врагами, противостоять которым может только сильный лидер, способный повернуть свою страну вспять и сделать ее «снова великой». Этим движениям играют на руку идеи, которые разделяют с ними многие их самые ярые противники: идеи, что современные институты не оправдывают себя и что каждый аспект жизни находится во все более глубоком кризисе. Обе стороны сходятся в зловещем убеждении, что мир станет лучше, если избавится от этих институтов. Гораздо реже встречаются люди с позитивным взглядом, которые воспринимают мировые проблемы на фоне исторического прогресса и стремятся развивать его дальше, в свою очередь решая эти проблемы.

Если вы все еще не уверены, что гуманистическим идеалам Просвещения нужна решительная защита, вдумайтесь в слова Ширази Махера, исследователя радикальных исламистских движений: «Запад стесняется своих ценностей – он больше не выступает в защиту классического либерализма. Мы не уверены в этих ценностях. Нам за них неловко». Махер сравнивает такое отношение Запада с позицией ИГИЛ^[4], которое «точно знает, за что борется», и эта уверенность «невероятно притягательна» – а уж ему-то виднее: раньше он был региональным руководителем джихадистской группировки «Хизб ут-Тахрир»^{[5][6]}.

Размышляя о либеральных идеалах в 1960-х годах вскоре после того, как они выдержали свое величайшее испытание, экономист Фридрих фон Хайек писал:

Чтобы старые истины сохраняли свое влияние на людские умы, их нужно формулировать заново, используя язык и понятия очередного поколения. Некогда яркие выражения постепенно изнашиваются и утрачивают конкретное значение. Стоящие за ними идеи могут оставаться такими же актуальными, как и прежде, но слова – даже если они описывают все еще существующие проблемы – утрачивают былую убедительность^{[7][8]}.

Эта книга — моя попытка заново сформулировать идеалы Просвещения, используя язык и понятия XXI века. Для начала я изложу общие принципы понимания человеческой природы в свете достижений современной науки: кто мы, откуда мы взялись, с какими трудностями сталкиваемся и как с ними справляемся. Большая часть книги посвящена защите этих идеалов методом, характерным для XXI века, — при помощи данных. Этот фактологический подход к изучению Просвещения как проекта показывает, что связываемые с ним надежды не были напрасными. Просвещение *сработало* — и это, возможно, величайшая из тех историй, о которых мы редко вспоминаем. А поскольку этот триумф настолько не воспет, лежащие в его основе идеалы разума, науки и гуманизма также не оценены по достоинству. Эти идеалы — отнюдь не навевающие скуку общие места. Напротив, современные интеллектуалы относятся к ним с равнодушием и скепсисом, а иногда даже с презрением. В этой книге я отстаиваю мнение, что, если их должным образом осмыслить, идеалы Просвещения оказываются волнующими, вдохновляющими и благородными, — что ради них стоит жить.

Глава 1

Имей мужество пользоваться собственным умом!

Что такое просвещение? Этим вопросом озаглавил свое эссе 1784 года Иммануил Кант. Просвещение для Канта – это «выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине»^[9], его уход от «лености и трусости», от подчинения «положениям и формулам» религиозных или политических авторитетов^[10]. Девизом просвещения он провозгласил фразу: «Имей мужество пользоваться собственным умом!», а его основополагающим принципом – свободу мысли и слова:

Никакая эпоха не может обязаться и поклясться поставить следующую эпоху в такое положение, когда для нее было бы невозможно расширить свои познания, избавиться от ошибок и вообще двигаться вперед в просвещении. Это было бы преступлением против человеческой природы, первоначальное назначение которой заключается именно в этом движении вперед^[11].

В XXI веке схожую идею высказал физик Дэвид Дойч, выступив в защиту просвещения в своей книге «Начало бесконечности» (The Beginning of Infinity)^[12]. Дойч утверждает, что, если мы будем иметь мужество пользоваться собственным умом, мы сможем достичь прогресса во всех областях науки, политики и морали:

Оптимизм (в том смысле, за который я выступаю) – это теория о том, что все неудачи, все зло обусловлено недостатком знаний... Проблемы неизбежны, потому что наши знания всегда будут бесконечно далеки от полноты. Некоторые проблемы трудны, но будет ошибкой путать сложные проблемы с теми, которые вряд ли кто-то решит. Проблемы можно решить, и каждое конкретное зло – это проблема, допускающая решение. Оптимистичная цивилизация открыта, ее не пугают новшества, а в ее основе лежат традиции критики. Ее институты продолжают совершенствоваться, а наиболее

важные знания, которые они в себе несут, – это знания о том, как обнаруживать и устранять ошибки^{[13][14]}.

Что такое Просвещение?^[15] На этот вопрос нет официального ответа, потому что эпоха, названная в эссе Канта, никогда не имела четких рамок вроде олимпийских церемоний открытия и закрытия, а ее постулаты не были перечислены в какой-нибудь клятве или символе веры. Традиционно эпохой Просвещения считают последние две трети XVIII века, хотя она логически вытекала из революции в науке и эпохи рационализма XVII века и перетекла в период расцвета классического либерализма в первой половине XIX века. Во времена, когда наука и географические открытия поставили под вопрос все общепринятые истины, память о кровопролитиях религиозных войн была еще свежа, а идеи и люди легко преодолевали государственные границы, мыслители Просвещения искали новое понимание человеческой природы. Для той эпохи было характерно поразительное изобилие порой противоречащих друг другу идей, но все они связывались воедино благодаря четырем темам: разуму, науке, гуманизму и прогрессу.

На первом месте всегда стоял разум. Рациональное мышление не подлежит сомнению. Как только вы начинаете рассуждать о том, зачем мы живем (или о любом другом вопросе), настаивая при этом, что ваши ответы – какими бы они ни были – разумны, или обоснованны, или истинны и потому другие люди тоже должны в них верить, вы автоматически соглашаетесь подчиниться требованиям рациональности и признаете, что ваши взгляды можно оценивать в соответствии с объективными стандартами^[16]. Если что-то и объединяло всех мыслителей Просвещения, так это убеждение, что при познании мира нам необходимо активно применять критерии рациональности, а не прибегать к источникам заблуждений вроде веры, догмы, откровения, авторитета, благодати, харизмы, мистицизма, пророчества, видений, интуиции или толкования священных текстов.

Именно разум заставил большинство мыслителей Просвещения отказаться от веры в антропоморфного Бога, которого интересуют дела людей^[17]. Путем рациональных рассуждений они выявили, что не существует надежных свидетельств реальности чудес, что авторам священных книг не было чуждо ничто человеческое, что природные

явления происходят без оглядки на благополучие людей и что в разных культурах люди верят в разных, исключаящих существование друг друга богов, которые с равной вероятностью могут оказаться плодом воображения. (Монтескье писал: «Если бы у треугольников был бог, они бы наделили его тремя сторонами».) Тем не менее не все мыслители Просвещения были атеистами. Некоторые были деистами (в противовес теистам) – они считали, что Бог запустил механизмы Вселенной, а затем отошел от дел, позволив ей развиваться в соответствии с законами природы. Другие были пантеистами – для них Бог был *синонимом* законов природы. Но мало кто из них верил в Бога-законодателя, чудотворца и отца из библейских преданий.

Многие современные писатели путают свойственную эпохе Просвещения веру в разум и нелепое утверждение, будто человек является абсолютно рациональным существом. Это не имеет ничего общего с исторической реальностью. Такие мыслители, как Кант, Спиноза, Томас Гоббс, Дэвид Юм и Адам Смит, были пытливыми психологами и хорошо отдавали себе отчет в иррациональности наших страстей и страхов. Они настаивали, что, только выставя напоказ все обычные источники нашего безрассудства, мы можем надеяться победить его. Настойчивое применение разума необходимо именно потому, что привычные нам модели мышления не отличаются рациональностью.

Это подводит нас ко второму идеалу Просвещения – науке, способу отточить разум для познания мира. Революция в науке стала переворотом, масштабы которого сложно осознать сегодня, когда ее достижения стали повседневностью для большинства из нас. Историк Дэвид Вуттон напоминает о типичных представлениях образованного англичанина в 1600 году, накануне начала научной революции:

Он верит, что ведьмы способны вызвать бури, которые топят корабли в море... [Он] верит в оборотней, хотя в Англии они не водятся, – он знает, что их видели в Бельгии... Он не сомневается, что Цирцея действительно превратила спутников Одиссея в свиней. Он убежден, что мыши самопроизвольно зарождаются в скирдах соломы. Он верит в современных магов... Он видел рог единорога, но не самого единорога.

[Он] верит, что мертвое тело будет кровоточить в присутствии убийцы. Он верит в существование лезвийной мази – если смазать ею

клинок, которым нанесена рана, эта рана заживет. Он верит, что форма, цвет и текстура растения определяют его лекарственные свойства, потому что Бог создал природу таким образом, чтобы ее могли истолковывать люди. Он верит, что можно превратить недрагоценный металл в золото, хотя сомневается в существовании человека, знающего, как это сделать. Он верит, что природа не терпит пустоты. Он верит, что радуга – это знамение Господа, а кометы предвещают беду. Он верит в существование вещих снов – нужно только правильно их истолковать. Разумеется, он верит, что Солнце и звезды делают один оборот вокруг Земли за двадцать четыре часа^{[18][19]}.

Через век и одну треть образованный потомок этого англичанина не будет верить ни во что из перечисленного. Это стало избавлением не только от невежества, но и от страха. Социолог Роберт Скотт отмечает, что в Средние века «вера во внешнюю силу, которая контролирует повседневную жизнь людей, вела к возникновению своего рода коллективной паранойи»:

Ливни, гром, молнии, порывы ветра, солнечные и лунные затмения, внезапные похолодания, периоды жары, засухи и землетрясения – все это виделось знаками и свидетельствами Божьего недовольства. Как следствие, суеверные страхи царили в любой области жизни. Море считалось обителью дьявола, а леса населяли хищные твари, людоеды, ведьмы, демоны и самые настоящие грабители и головорезы... С наступлением темноты мир тоже наполняли знамения всевозможных опасностей: кометы, метеоры, падающие звезды, лунные затмения, вой диких животных^[20].

Этот отход от невежества и суеверий показал мыслителям Просвещения, насколько ошибочными могут быть общепринятые представления. Научные методы – скептицизм, фаллибилизм, открытость дискуссий и эмпирическая проверка – оказались парадигмой для получения надежных знаний.

Эти знания включают и наше понимание самих себя. Потребность в «науке о человеке» стала темой, объединившей мыслителей Просвещения, которые расходились во мнениях о многом другом, в том числе Монтескье, Юма, Смита, Канта, Николя де Кондорсе, Дени Дидро, Жана Д’Аламбера, Жан-Жака Руссо и Джамбаттисту Вико. Их

вера в существование такого понятия, как универсальная человеческая природа, и в то, что ее можно изучать научными методами, сделала их пионерами наук, которым дадут названия только несколько веков спустя^[21]. Они были когнитивными нейробиологами, пытавшимися объяснить мышление, эмоции и психопатию с точки зрения физических процессов в мозге. Они были эволюционными психологами, стремившимися понять жизнь в ее природном состоянии и выявить животные инстинкты, «присущие нашему естеству». Они были социальными психологами, писавшими о духовных переживаниях, которые нас сближают, и об эгоистичных страстях, которые отдаляют нас друг от друга, об ограниченности восприятия, из-за которой рушатся наши лучшие планы. Они были культурными антропологами, изучавшими свидетельства путешественников и первооткрывателей, накапливая данные и о человеческих универсалиях, и о различиях в традициях и нормах народов мира.

Идея универсальности человеческой природы подводит нас к третьей теме – гуманизму. Мыслители эпох рационализма и Просвещения видели острую необходимость в светском обосновании морали, поскольку их преследовала историческая память о веках религиозного насилия: о крестовых походах, деятельности инквизиции, охоте на ведьм и европейских религиозных войнах. Они заложили основу той системы взглядов, которую мы сейчас называем гуманизмом и которая ставит благополучие отдельно взятых мужчин, женщин и детей выше славы племени, расы, нации или конфессии. Именно индивидуумы, а не группы, обладают *сознанием* – способностью чувствовать радость и боль, счастье и горе. Как бы мы ни определяли гуманизм – как стремление к наибольшему благополучию для наибольшего числа людей или же как категорический императив воспринимать человека как цель, а не средство, – именно универсальная способность каждого человека страдать и процветать, считали мыслители Просвещения, требует от нас ответов на вопросы морали.

К счастью, человеческая природа подготовила нас к этим вопросам. Ведь мы наделены даром *сопереживания*, который в то время называли также благожелательностью, жалостью и состраданием. Раз мы вообще способны сопереживать другим, ничто не мешает нашему сопереживанию распространяться не только на семью или на племя,

но и на все человечество, тем более что разум подсказывает нам, что ни у нас самих, ни у каких-либо групп, к которым мы принадлежим, не может быть никаких уникальных черт, делающих нас особо заслуживающими сопереживания^[22]. Мы сталкиваемся с необходимостью принять космополитизм и признать себя гражданами мира^[23].

Гуманистический склад ума привел мыслителей Просвещения к порицанию не только религиозного насилия, но и не связанной с религией жестокости своего времени, в том числе рабовладения, деспотизма, смертной казни за мелкие преступления вроде магазинных краж или браконьерства, а также садистских наказаний, таких как порка, отсечение рук, сажание на кол, выпускание кишок, колесование и сожжение на костре. Просвещение иногда называют гуманистической революцией, потому что оно положило конец варварским практикам, существовавшим в самых разных цивилизациях на протяжении тысячелетий^[24].

Что, если не отмену рабства и жестоких наказаний, стоит называть прогрессом? Это подводит нас к четвертому идеалу Просвещения. Благодаря использованию науки для более глубокого понимания мира и расширению круга сопереживания с помощью рационального мышления и космополитизма, человечество оказалось способно к прогрессу в интеллектуальной и нравственной сфере. Оно больше не должно было ни мириться с бедствиями и иррациональностью настоящего, ни пытаться вернуться в утраченный золотой век.

Веру эпохи Просвещения в прогресс не стоит путать со свойственной романтизму XIX века верой в мистические силы и законы, в диалектические конфликты, логику событий, предначертанность судьбы, чередование эпох и силы эволюции, которые неуклонно ведут человечество выше и дальше по направлению к утопии^[25]. Как следует из замечания Канта о расширении познаний и избавлении от ошибок, просвещенческое видение прогресса было куда более прозаичным и сочетало в себе рациональность и гуманизм. Если мы обращаем внимание на то, как работают наши законы и обычаи, ищем способы их улучшить, пробуем эти способы и продолжаем использовать те из них, которые идут на пользу людям, мы постепенно сможем сделать мир лучше. Сама наука

точно так же ползет вперед, непрерывно чередуя выдвижение гипотез и их экспериментальную проверку, и это ее безостановочное движение, нивелирующее частные ошибки и неудачи, доказывает возможность прогресса.

Идеал прогресса также не стоит путать со стремлением XX века перестроить общество для удобства технократов и энтузиастов всеобщего планирования, которое политолог Джеймс Скотт называет «авторитарным высоким модернизмом»^[26]. Это движение отрицало существование человеческой природы с ее неопрытными потребностями в красоте, природе, традиции и социальной близости^[27]. Модернисты разрабатывали проекты по обновлению городской среды «с чистой скатерти», где на смену кипящим жизнью жилым кварталам приходили скоростные шоссе, многоэтажки, открытые всем ветрам площади и архитектура брутализма. «Человечество возродится, – предвещали они. – Каждый человек будет жить в упорядоченной взаимосвязи с целым»^[28]. Иногда к подобным начинаниям применяли слово «прогресс», но употреблять его в этом контексте можно только с иронией: «прогресс», не ведомый гуманизмом, не есть прогресс.

С точки зрения Просвещения прогресс не имел целью изменить человеческую природу; главным образом он касался человеческих институтов. Созданные людьми системы, такие как правительство, законы, рынки и международные организации, – вот очевидная мишень для попыток улучшить долю человека при помощи разума.

При таком образе мышления правительство – это не самодержавная власть волею Божьей, не синоним «общества» и не зримое воплощение духа нации, религии или расы. Оно – изобретение человека, исподволь принимаемое всеми в соответствии с социальным контрактом и призванное улучшать благосостояние граждан путем координации их действий и противодействия эгоистическим решениям, которые кажутся заманчивыми отдельным членам общества, но при этом вредны для всех остальных. Как говорится в самом известном шедевре Просвещения, Декларации независимости США, для того чтобы обеспечить право человека на жизнь, свободу и стремление к счастью, людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых.

В полномочия правительства входит и назначение наказаний, так что такие авторы, как Монтескье, Чезаре Беккариа и отцы-основатели США, по-новому взглянули на право правительства причинять вред своим гражданам^[29]. Уголовное наказание, утверждали они, не имеет своей задачей вершить надмирное правосудие, но является частью стимулирующей структуры, которая препятствует антиобщественным поступкам, не причиняя большего страдания, чем то, от которого оно ограждает. Таким образом, причина, по которой наказание должно соответствовать преступлению, состоит не в уравнивании неких мистических весов справедливости, но в том, чтобы остановить преступника на мелком преступлении прежде, чем он перейдет к более серьезным. Жестокие наказания, «заслужены» ли они в каком-то смысле или нет, не эффективнее в предотвращении ущерба, чем умеренная, но максимально неотвратимая санкция; кроме того, они снижают чувствительность посторонних наблюдателей к насилию и ожесточают общество, которое их практикует.

Деятели Просвещения первыми занялись и рациональным анализом достатка. В первую очередь их заинтересовало не распределение богатства среди населения, но предшествующий этому вопрос о том, откуда вообще берется богатство^[30]. Адам Смит, развивая идеи французских, голландских и шотландских авторов, отмечал, что изобилие полезных товаров не может возникнуть благодаря усилиям отдельного крестьянина или ремесленника. Изобилие требует совместной работы целого сообщества специалистов, каждый из которых учится делать свое дело максимально эффективно, и все они дополняют друг друга, обмениваясь плодами своей изобретательности, навыков и усилий. В знаменитом примере Смит рассчитал, что отдельный работник может изготовить в лучшем случае одну булавку в день, тогда как на мануфактуре, где «один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки»^[31], каждый производит в день почти по пять тысяч.

Специализация работает только на рынке, который позволяет специалистам обмениваться своими товарами и услугами, и Смит объяснял, что экономическая деятельность – это форма взаимовыгодного сотрудничества (игра с положительной суммой,

выражаясь современным языком): каждый получает нечто, что для него более ценно, чем то, что он отдает. В ходе добровольного обмена люди приносят пользу другим, получая при этом пользу сами; как писал Смит, «не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму». Он не имел в виду, что люди безнадежно эгоистичны или что им следует такими быть; напротив, он был одним из самых проникательных в истории исследователей человеческой способности к сопереживанию. Он имел в виду лишь то, что в условиях рынка любая склонность людей заботиться о своих семьях и себе самих может идти на пользу всем.

Обмен может сделать общество не только богаче, но и безопаснее, поскольку на эффективном рынке вещи дешевле покупать, чем воровать, а другие люди представляют для тебя большую ценность живыми, чем мертвыми. (Как несколько веков спустя писал экономист Людвиг фон Мизес, «если портной идет войной на пекаря, то с этого момента он должен печь себе хлеб самостоятельно»^[32].) Многие мыслители Просвещения, в том числе Монтескье, Кант, Вольтер, Дидро и аббат Сен-Пьер, были сторонниками идеала *doux commerce*, «доброй торговли»^[33]. Отцы-основатели США – Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон и в особенности Александр Гамильтон – разрабатывали институты нового государства с расчетом создать условия для такой торговли.

Это подводит нас к еще одному идеалу Просвещения – миру. Войны были настолько обычным явлением в истории, что естественно было видеть их неотъемлемой частью человеческой природы, а всеобщий мир – возможным только после второго пришествия Христа. Но теперь войну начали воспринимать не как ненавистную божественную кару, которую нужно просто терпеть, и не как славное состязание, в котором необходимо одержать победу, а потом воспеть ее, но как практическую проблему, с которой можно бороться и однажды ее решить. В трактате «К вечному миру» Кант перечислил меры, которые могли бы помешать правителям втягивать свои страны в войны^[34]. Помимо международной торговли, он видел решение в представительных республиках (или демократиях, как мы бы назвали их сейчас), взаимной открытости, международном праве,

запрещающем вторжения и вмешательство во внутренние дела других стран, свободе путешествий и иммиграции, а также в создании федерации государств для урегулирования разногласий между ними.

При всей дальновидности отцов-основателей, мыслителей и философов, эта книга – не гимн эпохе Просвещения. Все эти люди были мужчинами и женщинами своего времени – XVIII века. Среди них попадались расисты, сексисты, антисемиты, рабовладельцы и дуэлянты. Некоторые волновавшие их вопросы мы почти не в состоянии понять, а помимо гениальных идей, им приходили в голову и весьма безумные. Что еще важнее в контексте этой книги, они родились слишком рано, чтобы оценить некоторые ключевые особенности современного видения реальности.

При этом они сами первыми бы это и признали. Если ты прежде всего ценишь разум, тебе важнее последовательность в мышлении, а не личности мыслителей. А если ты предан идее прогресса, ты понимаешь, что твои знания заведомо не полны. Заслуги мыслителей Просвещения несколько не умаляет тот факт, что они не имели представления о некоторых известных нам важнейших идеях, касающихся судьбы человечества и природы прогресса. Я имею в виду идеи энтропии, эволюции и информации.

Глава 2

Энтро, эво, инфо

Первая ключевая особенность современного понимания судьбы человечества – это концепция энтропии, или беспорядка, которая впервые возникла в физике XIX века, а в современном виде была сформулирована физиком Людвигом Больцманом^[35]. Второе начало термодинамики гласит, что в изолированной системе (то есть в той, которая не взаимодействует с окружающей средой) энтропия никогда не уменьшается. (Первое начало гласит, что энергия сохраняется; третье – что температура абсолютного нуля недостижима.) Изолированные системы неуклонно становятся менее упорядоченными, менее организованными, менее способными к достижению интересных или полезных результатов – до тех пор, пока не скатываются в серое, безликое и однородное равновесие, в котором и остаются.

В своей первоначальной формулировке второе начало описывало процесс, в котором полезная энергия в виде разницы температур между двумя телами неизбежно рассеивается в ходе перетекания тепла от более нагретого к более холодному телу. (Как пели Майкл Фландерс и Дональд Сванн, «от холодного к горячему тепла не передать – ты можешь попытаться, но лучше сил не трать».) Чашка кофе, если только не поставить ее на электроплитку, со временем остынет. Когда в топке парового двигателя заканчивается уголь, остывший пар под поршнем больше не сдвинет его с места, потому что нагретый пар и воздух с противоположной стороны будут давить с равной силой.

Как только стало понятно, что тепло – это не невидимая жидкость, а энергия движущихся молекул и что разница между температурами двух тел – это разница между средними скоростями их молекул, возникла более общая, статистическая версия и концепции энтропии, и самого второго начала. Теперь макроскопический порядок можно было охарактеризовать как набор всех различных микросостояний системы (в изначальном примере с теплом это все возможные скорости и положения всех молекул обоих тел). Среди этих состояний те, что мы

обычно считаем полезными (например, состояния, когда одно из тел теплее другого, то есть средняя скорость молекул в одном теле выше средней скорости молекул в другом), составляют лишь малую часть из всех возможных, тогда как беспорядочные или бесполезные состояния (при которых тела имеют одинаковую температуру, то есть средние скорости их молекул равны) составляют подавляющее большинство. Отсюда следует, что любая пертурбация в системе, будь то случайное колебание ее частей или пинок из внешней среды, по теории вероятности сдвинет систему в сторону беспорядка и бесполезности – не потому, что природа стремится к беспорядку, но потому, что беспорядочных состояний гораздо больше, чем упорядоченных. Если вы оставите без присмотра замок из песка, на завтра его уже не будет, потому что ветер, волны, чайки и дети непрестанно двигают песчинки, а количество непохожих на замок комбинаций песчинок несравнимо больше количества похожих. Я буду часто ссылаться на эту статистическую версию второго начала, которая относится не только к выравниванию температур, но и в целом к возрастанию неупорядоченности, называя ее законом энтропии.

Какое отношение энтропия имеет к человеческим делам? Жизнь и счастье зависят от бесконечно малого количества упорядоченных комбинаций материи среди астрономического числа прочих возможностей. Наши тела – крайне маловероятные сочетания молекул, которые поддерживают свою упорядоченность благодаря другим крайне маловероятным явлениям: нас может питать ограниченный ряд веществ, ограниченное число материалов в ограниченном количестве форм могут служить нам одеждой, жилищем или топливом для перемещения предметов по нашему желанию. Гораздо больше встречающихся на Земле комбинаций материи не имеют для нас никакой практической пользы, поэтому, когда вещи меняются не по воле человека, скорее всего, они меняются к худшему. В повседневной жизни закон энтропии часто проскальзывает в выражениях вроде «рассыпаться в прах», «время все перемелет», «дерьмо случается», «все, что может пойти не так, пойдет не так» и (как говорил знаменитый конгрессмен от штата Техас Сэм Рэйберн) «любой болван может развалить сарай, а новый построить под силу только плотнику».

В глазах ученых второе начало объясняет отнюдь не только неурядицы повседневной жизни. Оно составляет основу нашего

понимания Вселенной и места человека в ней. В 1928 году физик Артур Эддингтон писал:

Закон о возрастании энтропии, на мой взгляд, занимает главенствующее место среди законов природы. Если кто-то скажет вам, что ваша любимая теория строения Вселенной не согласуется с уравнениями Максвелла, тем хуже для уравнений Максвелла. Если окажется, что ваша теория не подтверждается наблюдениями, – что ж, экспериментаторы иногда ошибаются. Но, если ваша теория противоречит второму началу термодинамики, надежды больше нет: остается только признать унижительное поражение^[36].

В своей знаменитой кембриджской лекции 1959 года, опубликованной под названием «Две культуры и научная революция», ученый и писатель Чарльз Перси Сноу так отзывался о презрительном отношении к науке среди образованных британцев того времени:

Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: «Читали ли вы Шекспира?»^{[37][38]}

Химик Питер Эткинс в своей книге «Четыре закона, которые движут Вселенной» (Four Laws That Drive the Universe) под одним из вынесенных в заголовок законов имел в виду второе начало термодинамики. В более близкой мне области недавняя статья эволюционных психологов Джона Туби, Леды Космидес и Кларка Барретта об основах науки о разуме получила название «Второе начало термодинамики – это первое начало психологии»^[39].

Откуда столько благоговения перед вторым началом? С точки зрения космического порядка оно определяет судьбу Вселенной и главную цель жизни, сознания и человеческих усилий: использовать энергию и знания, чтобы бороться с натиском энтропии и создавать островки благотворного порядка. С более приземленной точки зрения

ответ может быть поконкретнее, но сначала мне необходимо ввести две другие фундаментальные идеи.

~

На первый взгляд, закон энтропии предполагает обескураживающую картину прошлого и мрачные перспективы в будущем. В момент своего зарождения в Большом взрыве Вселенная находилась в состоянии низкой энтропии при немислимо высокой концентрации энергии. С тех пор дело шло под гору: Вселенная понемногу превращается в разреженную кашу из равномерно распределенных в пространстве частиц и продолжит делать это и в будущем. В реальности, разумеется, Вселенная, какой мы ее застали, отнюдь не однородная масса. Ее монотонность оживляют галактики, планеты, горы, облака, снежинки и самые разные формы флоры и фауны, включая нас с вами.

Одна из причин, почему во Вселенной так много всего интересного, заключается в так называемых процессах самоорганизации, которые позволяют возникать ограниченным областям порядка^[40]. Когда в систему поступает энергия и эта система начинает рассеивать энергию, наращивая энтропию, она может на время задержаться в упорядоченной и даже красивой конфигурации вроде сферы, спирали, звезды, вихря, волны, кристалла или фрактала. Тот факт, что мы находим эти конфигурации красивыми, кстати сказать, наводит на мысль, что красота все же существует не только в глазах смотрящего. Такая эстетическая реакция мозга может быть признаком заложенной в нас природой восприимчивости к противостоящим энтропии факторам.

Однако в природе присутствует и иная требующая объяснения упорядоченность: не изящная симметрия и ритмичность материального мира, но функциональное устройство живых организмов. Они состоят из органов с их разнородными частями, которые невероятным образом сформированы и соединены между собой так, чтобы обеспечивать процессы, поддерживающие в организме жизнь (то есть потребление энергии и противодействие нарастанию энтропии)^[41].

Обычно сложность биологических систем иллюстрируют примером глаза, но я хочу продемонстрировать ее на примере моего

второго самого любимого органа чувств. В человеческом ухе есть эластичная перепонка, которая вибрирует под действием малейшего колебания воздуха, костяной рычаг, который увеличивает силу вибрации, поршень, который передает вибрации в жидкость в длинном канале (удачно закрученном так, чтобы уместиться в стенке черепа), сужающаяся мембрана, которая тянется вдоль всего канала и физически раскладывает звуковые волны на гармонические составляющие, а также совокупность клеток с крошечными волосками, которые выгибаются вперед и назад под действием вибрации, посылая череду электрических импульсов в мозг. Невозможно объяснить, почему все эти мембраны, кости, жидкости и волоски расположены таким маловероятным образом, не приняв во внимание, что именно такое устройство позволяет мозгу воспринимать упорядоченные звуки. Даже мясистое внешнее ухо (асимметричное и по вертикали, и по горизонтали, со всеми его складками и желобками) имеет именно ту форму, благодаря которой направляет проходящий через него звук таким образом, что мозг способен распознать, где находится то, что шумит, – внизу или вверху, спереди или сзади.

Организмы изобилуют этими маловероятными конфигурациями плоти вроде глаз, ушей, сердец и желудков, каждая из которых прямо-таки требует объяснения. До 1859 года, когда Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес нашли такое объяснение, разумно было полагать, что все это – дело умелых рук всевышнего проектировщика. Возможно, в том числе и по этой причине многие мыслители Просвещения были скорее деистами, нежели рьяными атеистами. Дарвин и Уоллес сделали проектировщика ненужным. Как только физические и химические процессы самоорганизации порождают конфигурацию материи, которая способна воспроизводить саму себя, ее копии начинают копироваться, что, в свою очередь, ведет к появлению копий копий, и так далее по экспоненте. Самовоспроизводящиеся системы должны конкурировать между собой за материю для создания копий и энергию для процесса копирования. А поскольку по закону энтропии никакое копирование не совершенно, в его ходе будут возникать ошибки, и, хотя большинство таких ошибок-мутаций пойдут системе во вред (вновь энтропия), иногда слепая удача породит ошибку, с которой система сможет воспроизводиться более эффективно и вытеснит всех конкурентов.

Поскольку ошибки, которые идут на пользу стабильности и скорости копирования, накапливаются от поколения к поколению, такая самовоспроизводящаяся система – мы называем их организмами – в итоге будет оставлять впечатление, будто она изначально проектировалась с расчетом на выживание и размножение в будущем, хотя на самом деле она лишь сохраняла те ошибки копирования, которые способствовали выживанию и размножению в прошлом.

Креационисты зачастую искажают смысл второго начала термодинамики, утверждая, что биологическая эволюция как возрастание упорядоченности со временем физически невозможна. Они опускают важное уточнение: «в изолированной системе». Организмы – открытые системы: они получают энергию от солнца, из пищи или глубинных гидротермальных источников и используют ее, чтобы создать в своих телах и жилищах временные очаги упорядоченности, в свою очередь выбрасывая в окружающую среду тепло и отходы, увеличивающие неупорядоченность в мире в целом. Использование организмами энергии для поддержания своей целостности под натиском энтропии – это современное толкование принципа *конатуса* (импульса или усилия), который Спиноза формулировал как «стремление к тому, чтобы утвердиться и совершенствоваться в своем бытии» и который в эпоху Просвещения стал основой для нескольких теорий жизни и сознания^[42].

Неотменяемая необходимость высасывать энергию из окружающей среды является причиной одной из трагедий живых существ. В то время как растения могут нежиться в лучах солнца, а некоторые морские существа – питаться химическим бульоном, который извергается из трещин в дне океана, животные рождены эксплуататорами: им приходится тяжким трудом добывать энергию из тел растений и других животных, поедая их. Тем же самым заняты вирусы, бактерии и прочие патогены и паразиты, терзающие тела изнутри. За исключением плодов, все, что мы называем «едой», является частями тела или запасами энергии других организмов, которые с радостью оставили бы эти сокровища себе. Природа – это война, и многое из того, что привлекает наше внимание в природном мире, – это гонка вооружений. Животные-жертвы защищаются посредством раковин, иголок, клешней, рогов, ядовитых желез, камуфляжа, способности летать и просто постоять за себя; растения

вооружены шипами, кожурой, корой и тканями, пропитанными раздражающими и ядовитыми веществами. Животные вырабатывают приемы нападения, способные преодолеть эти защитные приспособления: у плотоядных есть скорость, когти и орлиная зоркость, а у травоядных – приспособленные для измельчения зубы и печень, расщепляющая натуральные яды.

~

Мы подходим к третьей ключевой особенности – информации^[43]. Информацию можно понимать как снижение энтропии; это тот компонент, который отличает упорядоченную, структурированную систему от огромного числа систем беспорядочных и бесполезных^[44]. Представьте себе страницы случайных символов, набранные на пишущей машинке обезьяной, или помехи в динамике радиоприемника, настроенного на частоту между станциями, или россыпь пикселей на экране компьютера при открытии поврежденного графического файла. Каждый из этих объектов может принять триллионы различных форм, и каждая из этих форм будет такой же скучной, как предыдущая. А теперь представьте, что эти приборы контролирует некий сигнал, выстраивающий символы, звуковые волны или пиксели в последовательность, которая соответствует какому-то явлению реального мира: Декларации независимости США, первым тактам песни *Heu, Jude* или коту в темных очках. В таком случае мы говорим, что сигнал передает *информацию* о декларации, песне или коте^[45].

Объем информации, содержащейся в некой последовательности, зависит от того, насколько детально наше восприятие мира. Если бы нас волновала *точная* очередность символов, напечатанных обезьяной, или точная разница между двумя шумовыми всплесками, или точное расположение пикселей на конкретном дисплее с помехами, тогда мы бы сказали, что каждая из этих последовательностей несет столько же информации, сколько остальные. Интересные последовательности в таком случае несли бы даже *меньше* информации, потому что, когда смотришь на одну их часть (например, запятую), ты можешь угадать и другие (например, следующий за ней пробел) без помощи сигнала. Однако чаще всего мы сваливаем в одну кучу огромное большинство невнятных комбинаций, считая их одинаково скучными, и отделяем от

них те немногие, которые соответствуют чему-то еще. С этой точки зрения фотография кота несет больше информации, чем россыпь пикселей, поскольку ее дурацкий смысл выделяет редкую упорядоченную комбинацию из огромного числа в равной степени неупорядоченных. Когда мы говорим, что Вселенная упорядочена, а не хаотична, мы имеем в виду, что она содержит информацию именно в таком понимании. Некоторые физики возводят информацию в ранг одной из базовых составляющих Вселенной наряду с материей и энергией^[46].

Информация – это именно то, что накапливается в геноме в процессе эволюции. Последовательность оснований в молекуле ДНК соответствует последовательностям аминокислот в белках, из которых состоит тело организма, и эта последовательность сложилась в процессе уменьшения энтропии предков данного организма – формирования тех маловероятных конфигураций, которые позволяли им поглощать энергию, расти и размножаться.

Кроме того, информацию на протяжении всей жизни организма собирает его нервная система. Когда ухо преобразует звуки в нервные импульсы, два этих физических процесса – вибрация воздуха и диффузия ионов – не имеют между собой ничего общего. Но, благодаря корреляции между ними, определенная активность нейронов в мозге животного содержит информацию об определенном звуке во внешнем мире. Далее информация может переходить из электрической формы в химическую и обратно, пересекая синапсы между соседними нейронами, но при всех этих физических трансформациях сама она сохраняется неизменной.

Важнейшее открытие теоретической нейробиологии XX века заключалось в том, что нейронная сеть может не только хранить информацию, но и преобразовывать ее так, что это позволяет нам объяснить интеллектуальные способности мозга. Два входных нейрона могут быть соединены с выходным нейроном таким образом, что соотношения между их импульсами будут соответствовать логическому оператору, например И, ИЛИ и НЕ, или статистическому решению, принятому с учетом значимости входных данных. Это дает нейронной сети способность к обработке информации, то есть вычислениям. При достаточно большом размере сети, построенной из таких логических и статистических контуров (а в мозге с его

миллиардами нейронов есть где развернуться), мозг может вычислять сложные функции, что является первым условием для умственной деятельности. Мозг может обрабатывать получаемую им от органов чувств информацию об окружающем мире, копируя действие законов, по которым живет реальный мир, что позволяет нам выводить полезные суждения и прогнозы^[47]. Внутренние образы, которые надежно коррелируют с состояниями реального мира и участвуют в формировании суждений, чаще всего позволяющих перейти от верных предположений к верным выводам, можно назвать знанием^[48]. Мы говорим, что человек знает, что такое дрозд, если мысль «дрозд» возникает в его сознании, когда он видит дрозда, и если он способен прийти к умозаключению, что это такая птица, которая появляется по весне и таскает червей из земли.

Возвращаясь к эволюции: мозг, который благодаря информации в своем геноме способен обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств, может оптимизировать поведение животного для поглощения энергии и сопротивления энтропии. Например, он может установить правило: «Если оно пищит, гонись; если оно лает, спасайся бегством».

Погоня и побег, однако, представляют собой не просто последовательность сокращений мышц – это *целенаправленные* действия. В ходе погони в зависимости от обстоятельств требуется бежать, карабкаться, перепрыгивать или лежать в засаде (главное – чтобы это повышало шансы схватить добычу), а спасаясь от кого-то – прятаться, замирать и лавировать. Это подводит нас к еще одной эпохальной идее XX века, которую называют кибернетикой, концепцией обратной связи или теорией управления. Эта идея объясняет, почему физическая система может производить впечатление телеологической, то есть направляемой определенной задачей или целью. Все, что ей для этого нужно, – это возможность оценивать собственное состояние и состояние окружающей среды, наличие представления о своем целевом состоянии (то, чего она «хочет», чего она «добивается»), способность вычислять разницу между текущим состоянием и целевым, а также набор доступных ей действий, каждому из которых сопоставлен его ожидаемый результат. Если система устроена так, что она выбирает действия, которые обычно уменьшают разницу между текущим состоянием и целевым,

можно сказать, что она стремится к цели (а если мир оказывается достаточно предсказуемым, то и достигает ее). Естественный отбор открыл этот принцип в форме гомеостаза, благодаря которому наши тела, к примеру, регулируют свою температуру дрожью или потоотделением. Когда тот же принцип открыли люди, они применили его для разработки аналоговых систем вроде термостатов и круиз-контроля, а затем и цифровых систем вроде шахматных программ и автономных роботов.

Принципы информации, вычисления и управления перебрасывают мост через пропасть, отделяющую физический мир причины и следствия от интеллектуального мира знания, мышления и цели. Утверждение, что идеи могут менять мир, не просто риторическая фигура – это факт физического устройства человеческого мозга. Мыслители Просвещения догадывались, что мысль представляет собой некое материальное явление, – они сравнивали идеи с отпечатками на воске, колебаниями струны или волнами от проплывающей лодки. А некоторые, как Гоббс, предполагали, что «рассуждение есть не что иное, как подсчитывание», то есть вычисление. Однако до того, как концепции информации и вычисления прояснились, некоторым из них казалось разумным говорить о дуализме души и тела, приписывая интеллектуальную жизнь некой нематериальной душе (точно так же, как до прояснения концепции эволюции разумно было быть креационистом и приписывать устройство природы замыслу всевышнего проектировщика). Подозреваю, это еще одна причина, почему многие мыслители Просвещения были деистами.

Разумеется, вполне естественно сомневаться в том, что ваш телефон в самом деле «знает» ваш любимый номер, что ваш навигатор действительно «продумывает» наилучший маршрут или что ваш робот-пылесос искренне «старается» подмести пол. Однако по мере того, как системы обработки информации все совершенствуются, их представления о мире обогащаются, их цели выстраиваются во все более длинные иерархические цепочки из вложенных подцелей, а их направленные на достижение этих целей действия становятся все более разнообразными и все менее предсказуемыми – отказ это признавать начинает смахивать на человеческий шовинизм. (Вопрос о

том, объясняют ли информация и вычисление *сознание* в дополнение к знанию, мышлению и цели, я рассмотрю в последней главе.)

Человеческий интеллект остается главным ориентиром для искусственного, а вид *Homo sapiens* отличает от других видов то, что наши предки вложились в развитие более крупного мозга, который собирал больше информации о мире, осмыслял его более сложным образом и совершал больше различных действий для достижения своих целей. Люди заняли когнитивную нишу, которую также называют культурной нишей и нишей охотников-собираателей^[49]. Эта ниша подразумевала наличие нескольких новых механизмов адаптации, в том числе способность оперировать ментальными моделями мира и прогнозировать исход новых для особи поступков, способность сотрудничать с другими, что позволило группам людей добиваться того, что было не под силу одному, а также наличие языка, который дал людям возможность координировать свои действия и накапливать плоды общего опыта в виде наборов навыков и норм, именуемых культурой^[50]. Такие вложения позволили ранним гоминидам преодолеть защиту широкого ряда растений и животных, пожав тем самым богатый урожай энергии для подпитки своего растущего мозга, а следовательно, получать еще больше знаний и добывать еще больше энергии. Хорошо изученное танзанское племя охотников-собираателей хадза живет в той же экосистеме, где впервые возникли современные люди, и, вероятно, ведет примерно тот же образ жизни; хадза извлекают около 3000 калорий на человека в день из более чем 880 видов растений и животных^[51]. Они формируют свое меню с исключительно человеческой изобретательностью: убивают крупных животных при помощи отравленных стрел, собирают мед, выкуривая пчел из ульев, и увеличивают питательную ценность мяса и клубней посредством термической обработки.

Энергия, направляемая знанием, — это секрет нашего успешного противостояния энтропии, и новые достижения в добыче энергии означают новые достижения в улучшении человеческой доли. Изобретение земледелия и скотоводства примерно 10 000 лет назад во много раз увеличило доступную калорийность окультуренных растений и одомашненных животных, освободило некоторых членов общества от необходимости заниматься охотой и собирательством и в конечном итоге сделало возможной роскошь писать, мыслить и

накапливать идеи. Примерно за 500 лет до нашей эры, в период, который философ Карл Ясперс назвал «осевым временем», несколько культур в разных концах света перешли от систем ритуалов и жертвоприношений, которые лишь оберегали от несчастий, к системам философских и религиозных убеждений, которые поощряли альтруизм и обещали вечную жизнь души^[52]. Даосизм и конфуцианство в Китае, индуизм, буддизм и джайнизм в Индии, зороастризм в Персии, иудаизм Второго храма в Иудее и классическая греческая философия и драма возникли с разницей всего в несколько веков. (Конфуций, Будда, Пифагор, Эсхил и последние иудейские пророки ходили по земле примерно в одно время.) Не так давно группа ученых разных специальностей смогла убедительно объяснить этот факт^[53]. Дело было не в ауре духовности, внезапно окутавшей планету, но в чем-то куда более прозаичном: в добыче энергии. Именно в «осевое время» аграрные и экономические достижения привели к резкому росту объема доступной энергии до 20 000 калорий в день на человека в виде еды, кормов, топлива и сырья. Благодаря этому всплеску такие цивилизации смогли позволить себе крупные города, отдельный класс интеллектуалов и жречества, а также смену приоритетов с краткосрочного выживания на долгосрочную гармонию. Как тысячелетия спустя скажет Бертольд Брехт, «сначала хлеб, а нравственность – потом»^{[54][55]}.

Когда промышленная революция высвободила поток пригодной к использованию энергии угля, нефти и падающей воды, она тем самым положила начало Великому побегу от нищеты, болезней, голода, неграмотности и преждевременной смертности – сначала на Западе, а потом и в остальном мире (об этом мы поговорим в главах 5–8). Следующий скачок в благополучии человека – исчезновение крайней нищеты и распространение достатка со всеми его нравственными преимуществами – будет зависеть от появления новых технологий, которые позволят нам добывать энергию приемлемой для всего мира экономической и экологической ценой (глава 10).

~

Энтро, эво, инфо. Эти концепции определяют канву человеческого прогресса: трагические обстоятельства, которые предначертаны нам от рождения, и те способы, которые позволяют нам улучшить свой удел.

В первую очередь они учат нас вот какой мудрости: *у невзгод не всегда есть виновник*. Крупный, вероятно, даже важнейший прорыв научной революции состоял в отказе от идеи, что Вселенная пронизана неким смыслом. Такое примитивное, но широко распространенное восприятие подразумевает, что все случается по какой-то причине, поэтому, когда происходят плохие вещи – несчастные случаи, болезни, голод, нищета, – это значит, что какая-то сущность этого *хотела*. Если в случившейся неприятности удастся обвинить конкретного человека, его можно наказать или выбить из него компенсацию ущерба. Если такого человека нет, мы можем взвалить вину на ближайшее этническое или религиозное меньшинство, чьих членов можно линчевать или перебить в погромах. Если убедительную кандидатуру виновника совсем не получается найти среди смертных, можно выдумать ведьм, чтобы их жечь или топить. Если и это не выходит, человек начинает винить жестоких богов, которых нельзя наказать, но можно умиловать молитвами и жертвами. Наконец, он обращается к бестелесным сущностям вроде кармы, судьбы, потусторонних посланий и вселенской справедливости, которые могут подтвердить догадку, что «всему есть причина».

Галилей, Ньютон и Лаплас заменили эту моральную драму космического масштаба на представление о Вселенной как о механизме, события в котором случаются из-за текущих условий, а не ради будущих целей^[56]. Разумеется, у *людей* есть цели, но проецирование этих целей на устройство природы – лишь иллюзия. Вещи могут случаться вне зависимости от того, каким образом они отразятся на благополучии человека.

Этот вывод научной революции и Просвещения получил дальнейшее развитие благодаря открытию энтропии. Вселенной не только нет дела до наших желаний – при естественном ходе событий всегда будет казаться, что она стремится им помешать, потому что путей неблагоприятного развития ситуации гораздо больше, чем благоприятного. Сколько сгорело домов, сколько утонуло кораблей, сколько было проиграно битв – и все потому, что в кузнице не было гвоздя.

Осознать это безразличие Вселенной еще отчетливей нам помогло понимание эволюции. Хищники, паразиты и болезнетворные организмы постоянно пытаются нас съесть, а нашему имуществу все

время угрожают вредители и гниение. Мы от этого страдаем, но им всем совершенно все равно.

Бедности тоже не требуется объяснений. В мире, которым правят энтропия и эволюция, это естественное состояние человечества. Материя не складывается сама по себе в жилье и одежду, а живые существа прилагают все усилия, лишь бы не стать нашей пищей. Как отмечал Адам Смит, если что и нужно объяснять, так это богатство. При этом даже сегодня, когда мало кто верит, что кто-то несет ответственность за несчастные случаи или болезни, обсуждение проблемы бедности в основном сводится к поиску виноватых.

Всем этим я вовсе не пытаюсь сказать, что мир природы лишен недобрых намерений. Напротив, эволюция обеспечивает их в изобилии. Естественный отбор состоит в конкуренции генов за присутствие в будущих поколениях, и сегодняшние организмы – потомки тех, кто оттеснил своих соперников в борьбе за сексуальных партнеров, еду и доминирование. Это не значит, что все существа стремятся исключительно к собственной выгоде; современная эволюционная теория объясняет, каким образом эгоистичные гены могут порождать неэгоистичные организмы. Но эта щедрость имеет меру. В отличие от клеток в теле или отдельных особей в колониальном организме, люди генетически уникальны: каждый из нас накопил и перетасовал в процессе рекомбинации собственный набор мутаций, сложившийся за поколения воспроизведения под влиянием энтропии. Генетическая индивидуальность наделяет нас разными вкусами и нуждами, что тоже создает почву для раздоров. Семьи, пары, друзья, союзники и общества постоянно сталкиваются с конфликтами интересов, которые приводят к напряжению, ссорам, а иногда и насилию. Еще одно следствие закона энтропии состоит в том, что сложная система вроде организма может быть легко выведена из строя, поскольку ее работоспособность зависит от большого числа маловероятных условий, выполняемых одновременно. Ударить камнем по голове, сдавить рукой шею, метко выстрелить отравленной стрелой – и конкуренция устранена. Для владеющего языком организма еще более привлекательна *угроза* насилия, которая также может вынудить соперника подчиниться и тем самым закладывает основу для угнетения и эксплуатации.

Эволюция обременила нас еще одной ношей: наши когнитивные, эмоциональные и нравственные способности нацелены на индивидуальное выживание и размножение в архаичной среде, а не на общее процветание в современных условиях. Чтобы осознать эту проблему, не нужно полагать, что мы пещерные люди, родившиеся не в свое время; просто скорость эволюции измеряется поколениями, и наш мозг никак не мог успеть приспособиться к современным технологиям и институтам. В наше время люди полагаются на когнитивные способности, которые неплохо подходили для жизни в традиционных обществах, но теперь мы видим, что они имеют много изъянов.

Люди от природы не умеют ни читать, ни считать; их количественные представления об окружающем мире сводятся к «один, два, много» и грубым интуитивным оценкам^[57]. Им кажется, что в предметах материального мира есть скрытые сущности, которые подчиняются законам скорее симпатической магии или вуду, нежели физики и биологии: определенные объекты могут сквозь время и пространство воздействовать на вещи, которые на них похожи или с которыми они контактировали в прошлом (вспомните воззрения англичанина 1600 года)^[58]. Люди думают, что слова и мысли в виде молитв и проклятий могут влиять на физическую реальность. Они недооценивают вероятность случайностей^[59]. Они делают обобщенные выводы на основании крохотной выборки своего личного опыта и руководствуются стереотипами, проецируя типичные черты группы на индивидуумов, которые к ней принадлежат. Они подразумевают причинно-следственную связь при обнаружении корреляции. Они мыслят крупными категориями, деля мир на черное и белое, а еще в материальном ключе, представляя абстрактные связи как нечто конкретное. Они не столько интуитивные ученые, сколько интуитивные юристы и политики, которые оперируют свидетельствами, подтверждающими их правоту, и отмечают те, которые ей противоречат^[60]. Они переоценивают свои знания, интеллект, нравственность, компетентность и везение^[61].

Человеческая моральная интуиция также может идти вразрез с нашим благополучием^[62]. Люди демонизируют тех, с кем они не согласны, объясняя несовпадение мнений глупостью или

нечестностью. Для каждой беды они ищут козла отпущения. Они воспринимают мораль как источник оснований для порицания соперников и возмущения в их адрес^[63]. Причина для такого порицания может состоять как в том, что обвиняемый нанес кому-то вред, так и в том, что он насмехался над обычаями, сомневался в авторитетах, подрывал племенную солидарность или имеет нечистые сексуальные или пищевые привычки. Люди воспринимают насилие как нравственное, а не безнравственное явление: на протяжении всей истории человечества число убитых во имя справедливости неизменно превышало число убитых из алчности^[64].

~

Но не во всем мы плохи. Человеческое мышление имеет две особенности, которые позволяют нам преодолеть его ограниченность^[65]. Первая такая особенность – это абстрагирование. Люди применяют свое представление о некоем объекте в некоем месте для создания представления о некой сущности при неких обстоятельствах; так, мы берем мыслительный прием «Олень взбежал на холм» и применяем его к мысли «Ребенок пошел на поправку». Люди могут адаптировать свое представление об использовании физической силы для концептуализации других случаев действия, приводящего к результату; так, мы переходим от «Она приложила усилие, чтобы открыть дверь» к «Она приложила усилие, чтобы уговорить Лизу пойти вместе с ней» или «Она сделала над собой усилие, чтоб держаться вежливо». Такие приемы позволяют нам думать о переменной с ее величиной и о причине с ее результатом, то есть обеспечивают понятийный аппарат, необходимый для формулирования теорий и законов. Люди могут производить эти действия не только с отдельными мыслями, но и с более сложными конструкциями и благодаря этому использовать метафоры и проводить аналогии: тепло – это жидкость, сообщение – это пакет, общество – это семья, обязанности – это узы.

Вторая спасительная особенность мышления – это его комбинаторная, рекурсивная сила. Разум способен оперировать невероятным разнообразием идей благодаря своему умению соединять базовые концепции вроде объекта, места, способа, деятеля, причины и цели в утверждения. Разум порождает не только утверждения, но и

утверждения об утверждениях и утверждения об утверждениях об утверждениях: тело содержит разные жидкости; болезнь – это нарушение баланса телесных жидкостей; я больше не верю в теорию, что болезнь – это нарушение баланса телесных жидкостей.

Благодаря языку идеи не только приобретают абстрактный характер и по-разному сочетаются в голове конкретной мыслящей личности, но и могут накапливаться в сообществе мыслителей. Томас Джефферсон рассуждал о силе языка при помощи аналогии: «Тот, с кем я делюсь своей идеей, обогащается знанием, не уменьшая при этом моего; тот, кто зажигает свою свечу от моей, не погружает меня во тьму»^[66]. Мощь языка как самого первого приложения для обмена данными во много раз выросла после возникновения письменности (а в более поздние эпохи – в результате изобретения печатного станка, распространения грамотности и появления электронных носителей информации). Сети общающихся между собой мыслителей разрастались по мере того, как население росло, перемешивалось и концентрировалось в городах. А поскольку количество доступной энергии превосходило необходимый для выживания минимум, эти мыслители могли позволить себе роскошь размышлений и разговоров.

Когда крупные сообщества тесно связанных между собой людей сформировались, они нашли способы организовывать свое функционирование к общей выгоде своих участников. Хотя каждый хочет быть правым, как только люди начинают высказывать свои противоречивые мнения, становится понятно, что все не могут быть правы насчет всего. Кроме того, желание оказаться правым порой сталкивается со вторым желанием – узнать истину, – которое явно важнее всего для свидетелей спора, не заинтересованных в победе той или иной стороны. Таким образом, сообщества могут устанавливать правила, которые позволяли бы истинным выводам рождаться в хаосе дискуссий. Например: в пользу своих убеждений нужно приводить доводы, разрешается указывать на слабые места чужих убеждений, запрещается силой заставлять молчать несогласных. Добавьте сюда еще правило: окружающему миру необходимо дать возможность подтвердить или опровергнуть истинность ваших убеждений, – и мы уже можем называть эти правила наукой. При наличии верных правил сообщество не совсем рациональных мыслителей может возвращать рациональные идеи^[67].

Мудрость толпы также способна совершенствовать наши моральные воззрения. Когда достаточно широкий круг людей пытается прийти к общему пониманию, как нужно относиться друг к другу, дискуссия неизбежно пойдет в определенном направлении. Если мое начальное предложение звучит как «Я буду грабить, избивать, порабощать и убивать вас и таких, как вы, но вы не будете грабить, избивать, порабощать и убивать меня и таких, как я», я не могу рассчитывать, что вы на него согласитесь, а третья сторона его утвердит, поскольку у меня нет никаких разумных оснований пользоваться привилегиями только потому, что я – это я, а вы – нет^[68]. Со столь же малой вероятностью мы согласимся и на уговор «Я буду грабить, избивать, порабощать и убивать вас и таких, как вы, а вы будете грабить, избивать, порабощать и убивать меня и таких, как я», несмотря на его симметричность, ведь, какую бы выгоду мы ни получали от причинения вреда другим, ее все равно значительно перевесит ущерб, который мы понесем сами (еще одно следствие закона энтропии: ущерб нанести проще, чем получить выгоду, и последствия он имеет более серьезные). Мудрее было бы прийти к такому социальному контракту, который окажется беспримысленным для всех: ни одна сторона не будет причинять вред другой и обе будут поощряться помогать друг другу.

Так что при всех недостатках человеческой природы в ней заложены семена ее совершенствования; нужны лишь нормы и институты, которые будут направлять частные интересы так, чтобы они работали на всеобщую выгоду. К таким нормам относятся свобода слова, отказ от насилия, сотрудничество, космополитизм, права человека и признание, что человеку свойственно ошибаться, а к институтам – наука, образование, средства массовой информации, демократическое правление, международные организации и рынки. Совсем не случайно именно они стали основными изобретениями Просвещения.

Глава 3

Движения контрпросвещения

Кто может быть против разума, науки, гуманизма и прогресса? Эти слова – услада для слуха; эти идеалы непререкаемы. Они определяют смысл существования всех институтов современности – школ, больниц, благотворительных обществ, новостных агентств, демократических правительств, международных организаций. Неужели этим идеалам нужна защита?

Еще как нужна. Начиная с 1960-х годов доверие к этим институтам современности стало падать, а во втором десятилетии XXI века большое распространение получили популистские движения, которые открыто отвергают идеалы Просвещения^[69]. Им ближе ценности племени, а не космополитизм, авторитарная власть, а не демократия; они скорее презирают экспертов, а не уважают знания; и они склонны ностальгировать по идиллическому прошлому, а не надеяться на светлое будущее. Однако подобное отношение ни в коем случае не свойственно исключительно политическому популизму XXI века (это движение мы рассмотрим в главах 20 и 23). Презрение к разуму, науке, гуманизму и прогрессу отнюдь не зародилось в народных низах и отнюдь не сводится к желанию невежд выплеснуть свою агрессию – его корни уходят глубоко в культуру интеллектуальной и творческой элиты.

Самая распространенная критика Просвещения как проекта – что это западное изобретение, неприменимое в масштабе планеты во всем ее разнообразии, – дважды ошибочна. Во-первых, всякая идея должна где-то возникнуть, и ее географическое происхождение никак не влияет на ее ценность. Пускай многие идеи Просвещения были наиболее наглядно сформулированы и получили наибольшее распространение именно в Европе и Америке XVIII века, они являются плодом разума и человеческой природы, поэтому любой рационально мыслящий человек способен ими оперировать. Именно поэтому идеалы Просвещения много раз на протяжении истории провозглашались и вне западных цивилизаций^[70].

Но когда я слышу, что Просвещение – это главный идеал, которым руководствуется Запад, моя первая реакция: ах, если бы! Сразу за Просвещением последовало контрпросвещение, и с тех пор Запад так и не пришел к единству по этому вопросу^[71]. Стоило людям выйти на свет, как им стали говорить, что в темноте было не так уж плохо, что хватит уже иметь мужество пользоваться собственным умом, что положениям и формулам стоит дать второй шанс и что первоначальное назначение человеческой природы заключается в движении не вперед, а к упадку.

Особенно сильно идеалам Просвещения противились мыслители романтизма. Руссо, Иоганн Гердер, Фридрих Шеллинг и другие отрицали, что разум отделен от эмоций, что личность можно рассматривать вне ее культуры, что люди должны выдвигать рациональные обоснования для своих поступков, что одни и те же ценности применимы в разное время и в разных местах, что мир и благополучие – это то, к чему нужно стремиться. Человек для них есть часть органического целого – культуры, расы, нации, религии, духа или исторической силы; люди должны творчески воплощать то вечное единство, к которому они относятся. Наивысшее благо представляет собой героическая борьба, а не решение проблем; насилие присуще природе, и подавлять его – значит лишать жизнь ее живой сути. «Лишь три существа достойны уважения, – писал Шарль Бодлер, – жрец, воин и поэт. Знать, убивать и творить»^[72].

Звучит безумно, но и в XXI веке эти идеалы контрпросвещения продолжают поразительно часто встречаться среди представителей на удивление широкого спектра движений культурной и интеллектуальной элиты. Убеждение, что нам нужно прикладывать коллективный разум для поощрения процветания и уменьшения страдания, считается нелепым, наивным, непродуктивным, примитивным. Позвольте представить вам несколько популярных альтернатив разуму, науке, гуманизму и прогрессу; я буду упоминать их и в других главах, а в третьей части книги вступлю с ними в прямую дискуссию.

Самая очевидная из альтернатив – это религиозная вера. Взять что-то на веру означает принять это безо всякой разумной причины, так что вера в сверхъестественные сущности по определению противоречит принципу разума. Религия также часто идет вразрез с

гуманизмом, ставя выше человеческого благополучия некую нравственную ценность, скажем существование божественного спасителя, истинность священных текстов, соблюдение ритуалов и запретов, обращение остальных в ту же веру, наказание или демонизацию тех, кто ее не разделяет. Кроме того, религия противоречит гуманизму, говоря, что *души* важнее *жизней*; это совсем не такое возвышенное утверждение, как может показаться на первый взгляд. Вера в загробную жизнь предполагает, что здоровье и счастье не так уж важны, ведь земная жизнь – лишь бесконечно малая часть бытия человека, что принудить человека к принятию спасения души – значит сделать ему одолжение и что мученичество – это, возможно, лучшее, что с вами может случиться. Что касается несовместимости религии с наукой, таким примерам нет числа как в истории, так и в новостях, начиная от Галилея и «обезьяньего процесса»^[73] и заканчивая исследованиями стволовых клеток и глобальным потеплением.

Вторая идея контрпросвещения заключается в том, что люди – это взаимозаменяемые клетки некоего сверхорганизма: клана, племени, этнической группы, конфессии, расы, класса или нации. В таком случае первичной ценностью является величие этого сообщества, а не благополучие составляющих его личностей. Очевидным примером этой идеи служит национализм, в котором сверхорганизм представляет собой национальное государство, то есть этническую группу со своим правительством. Столкновение национализма и гуманизма мы видим в мрачных патриотических лозунгах вроде *Dulce et decorum est pro patria mori* («Честь и радость – пасть за отечество!»^[74]) или «Счастливы те, кто с сияющей верой приняли разом смерть и победу»^[75]. Даже не столь жуткое изречение Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна; спроси, что ты можешь сделать для своей страны» – наглядно демонстрирует эти противоречия.

Национализм не стоит путать с гражданскими ценностями, духом общественной солидарности, социальной ответственностью или гордостью за свою культуру. Люди – социальный вид, и благополучие каждой личности зависит от пронизывающих все общество установок на кооперацию и гармонию. Когда «нация» понимается как негласный общественный договор между людьми, проживающими на одной территории, – что-то вроде соглашения между обитателями

многоквартирного дома, — она играет ключевую роль в улучшении жизни своих членов. И разумеется, поступок человека, который решит пожертвовать своими интересами ради интересов многих других, заслуживает искреннего восхищения. Совсем другое дело, когда человека заставляют идти на высшую жертву во имя харизматичного лидера, куска ткани или цветных пятен на карте. Нет ни чести, ни радости в том, чтобы принять смерть, лишь бы удержать провинцию в составе империи, расширить сферу влияния или «воссоединить исконные земли».

Религия и национализм — характерные идеи политического консерватизма, и они продолжают сказываться на судьбах миллиардов людей в тех странах, где имеют широкое распространение. Многие мои коллеги левых взглядов, узнав, что я собираюсь писать книгу о разуме и гуманизме, с воодушевлением поддерживали меня, предвкушая целый арсенал тезисов против правых. Но не так давно левые сами сочувствовали национализму, если только он был присущ марксистским освободительным движениям. Многие представители левых и теперь поддерживают сторонников политики идентичности и борцов за социальную справедливость, готовых ущемлять права личности ради выравнивания положения рас, классов или гендеров, которые, на их взгляд, вовлечены в конфликт с нулевой суммой.

У религии также имеются защитники в обеих частях политического спектра. Даже авторы, не готовые защищать буквальное содержание религиозных догматов, порой яростно отстаивают саму религию и не принимают идею, что науке и разуму есть что сказать о нравственности (о существовании гуманизма многие из них как будто даже не слышали)^[76]. Защитники религии утверждают, что она обладает исключительным правом на вопросы о том, что важно, а что нет. Или что нам, людям искушенным, религия, может, и не нужна для нравственной жизни, но вот широким массам без нее никак. Или что, даже если всем было бы лучше без религиозной веры, бессмысленно рассуждать о ее месте в мире, поскольку она является частью человеческой природы и потому, в насмешку над надеждами Просвещения, влиятельна в наше время, как никогда. В главе 23 я рассмотрю все эти утверждения.

Левые склонны симпатизировать еще одному движению, которое подчиняет интересы личности интересам трансцендентной сущности —

экосистемы. Романтическое движение зеленых видит в добыче людьми энергии не способ сопротивления энтропии и улучшения человеческой доли, но чудовищное преступление против природы, чье суровое правосудие настигнет нас впоследствии в виде войн за ресурсы, отравленных воздуха и воды, а также ведущего к закату цивилизации глобального потепления. Единственное спасение для нас – раскаяться, отказаться от технологий и экономического роста и вернуться к более простому и естественному образу жизни. Разумеется, никакой осведомленный человек не станет отрицать урон, причиненный природным системам деятельностью человека, как и тот факт, что его последствия могут стать катастрофическими, если ничего не предпринимать. Вопрос в том, *действительно* ли сложное, технологически развитое общество обречено ничего не предпринимать. В главе 10 мы рассмотрим гуманистическое движение в защиту окружающей среды, близкое идеалам скорее Просвещения, нежели романтизма, которое иногда называют экомодернизмом или экопрагматизмом^[77].

Левые и правые политические идеологии сами по себе превратились в светские религии: у их последователей есть сообщество единомышленников, катехизис священных догматов, густонаселенная демонология и блаженная уверенность в правоте своего дела. В главе 21 мы увидим, как политическая идеология вредит разуму и науке^[78]. Она лишает людей способности к здравому рассуждению, пробуждает примитивный узкогрупповой подход и отвлекает от более четкого понимания того, как улучшить этот мир. Ведь, в конце концов, наши величайшие враги – не политические противники, но энтропия, эволюция (в форме эпидемий и изъятий человеческой природы) и – в первую очередь – невежество, нехватка знаний, как лучше всего решать наши проблемы.

Последние два движения контрпросвещения перекидывают мостик через пропасть, отделяющую правых от левых. Уже почти два столетия очень разные авторы провозглашают, что современная цивилизация отнюдь не пожинает плоды прогресса, но непрерывно переживает упадок и находится на грани полного краха. В своей книге «Идея упадка в западной истории» (The Idea Of Decline In Western History) историк Артур Херман перечисляет пессимистов последних двух веков, которые били тревогу из-за расовой, культурной, политической

и экологической деградации. Судя по всему, мир уже довольно давно катится к апокалипсису^[79].

Одна из форм такого упадничества заключается в сетованиях по поводу нашего вдохновенного Прометеем баловства с технологиями^[80]. Отобрав огонь у богов, мы лишь снабдили свой биологический вид средствами самоистребления, которого мы и добьемся если не отравив окружающую среду, то утратив контроль за ядерным оружием, нанотехнологиями, кибертеррором, биотеррором, искусственным интеллектом и другими смертельно опасными для мира изобретениями (глава 19). И даже если нашей технологической цивилизации удастся избежать полного уничтожения, она неуклонно скатывается в антиутопию, полную насилия и несправедливости: дивный новый мир терроризма, дронов, потогонных фабрик, банд, торговли людьми, беженцев, неравенства, кибербуллинга, сексуального насилия и преступлений на почве ненависти.

Иной тип упадничества видит проблему в обратном: не в том, что современность сделала жизнь слишком тяжелой и опасной, но в том, что она слишком беззаботна и благополучна. Эти критики считают здоровье, мир и процветание буржуазными уловками для отвлечения внимания от того, что действительно имеет значение. Потакая этим мещанским утехам, технологический капитализм обрекает людей на существование в пустыне атомизированного, конформистского, потребительского, материалистичного, безликого, погрязшего в рутине, лишённого корней и души общества. В этом абсурдном существовании люди страдают от отчуждения, тревоги, морального разложения, апатии, ложных идеалов, уныния, неудовлетворенности и тошноты; мы лишь «полые люди, что едят свои голые завтраки на бесплодной земле в ожидании Годо»^[81] (эти утверждения я разберу в главах 17 и 18). В сумерках декадентской, вырождающейся цивилизации истинное освобождение кроется не в стерильном рационализме или изнеженном гуманизме, но в аутентичном, героическом, целостном, органичном, священном, первичном для жизни бытии-в-себе и воле к власти. Если вам интересно знать, в чем же заключается этот священный героизм, Фридрих Ницше, автор термина «воля к власти», видит его в аристократичном насилии «белокурых германских бестий»^[82], самураев, викингов и героев

Гомера – «твердых, холодных, жестоких, бесчувственных и бессовестных, раздавливающих все и залитых кровью»^[83]. (Эти моральные принципы мы подробнее рассмотрим в последней главе.)

Херман отмечает, что интеллектуалы и деятели искусства, которые предвидят конец цивилизации, реагируют на свои предчувствия в одном из двух ключей. У исторических пессимистов перспектива всеобщего краха вызывает ужас, при этом они переживают, что мы никак не можем его предотвратить. Культурные пессимисты ждут его с «омерзительным ехидством». Современность настолько исчерпала себя, говорят они, что ее невозможно улучшить – только оставить позади. Из ее руин восстанет новый порядок, который неизбежно превзойдет ее.

Последняя альтернатива гуманизму Просвещения порицает его опору на науку. Вслед за Чарльзом Перси Сноу мы можем назвать это мировоззрение многих высоколобых литераторов и критиков «второй культурой» – в противовес «первой культуре» науки^[84]. Сноу говорил о вреде железного занавеса между этими двумя культурами и призывал к более плотной интеграции науки в интеллектуальную жизнь. И дело не только в том, что наука «по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности... является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума»^{[85][86]}. Знание науки, утверждал он, – нравственный долг, поскольку наука может уменьшить страдания в глобальном масштабе: исцелить болезни, накормить голодных, спасти жизни младенцев и матерей, позволить женщинам контролировать свою репродуктивную функцию.

И хотя доводы Сноу кажутся сегодня провидческими, знаменитый ответ на его лекцию литературного критика Фрэнка Реймонда Ливиса был настолько резким, что для его публикации в 1962 году журналу *The Spectator* пришлось попросить у Сноу обещание не подавать в суд за клевету^[87]. Заявив о «решительном отсутствии выдающихся интеллектуальных качеств и... постыдной вульгарности стиля» Сноу, Ливис высмеял систему ценностей, в которой «"уровень жизни" предстает высшим мерилom, а его рост – высшей целью»^[88]. Об альтернативе этой этике он писал: